ПУБЛИКАЦИИ

ИЗ УЧЕНИЧЕСКИХ СОЧИНЕНИЙ МИХАИЛА ГЛУХАРЁВА (АРХИМАНДРИТА МАКАРИЯ) ПО СЛОВЕСНОСТИ, РИТОРИКЕ, ФИЛОСОФИИ[1]

О пользе словесных наук

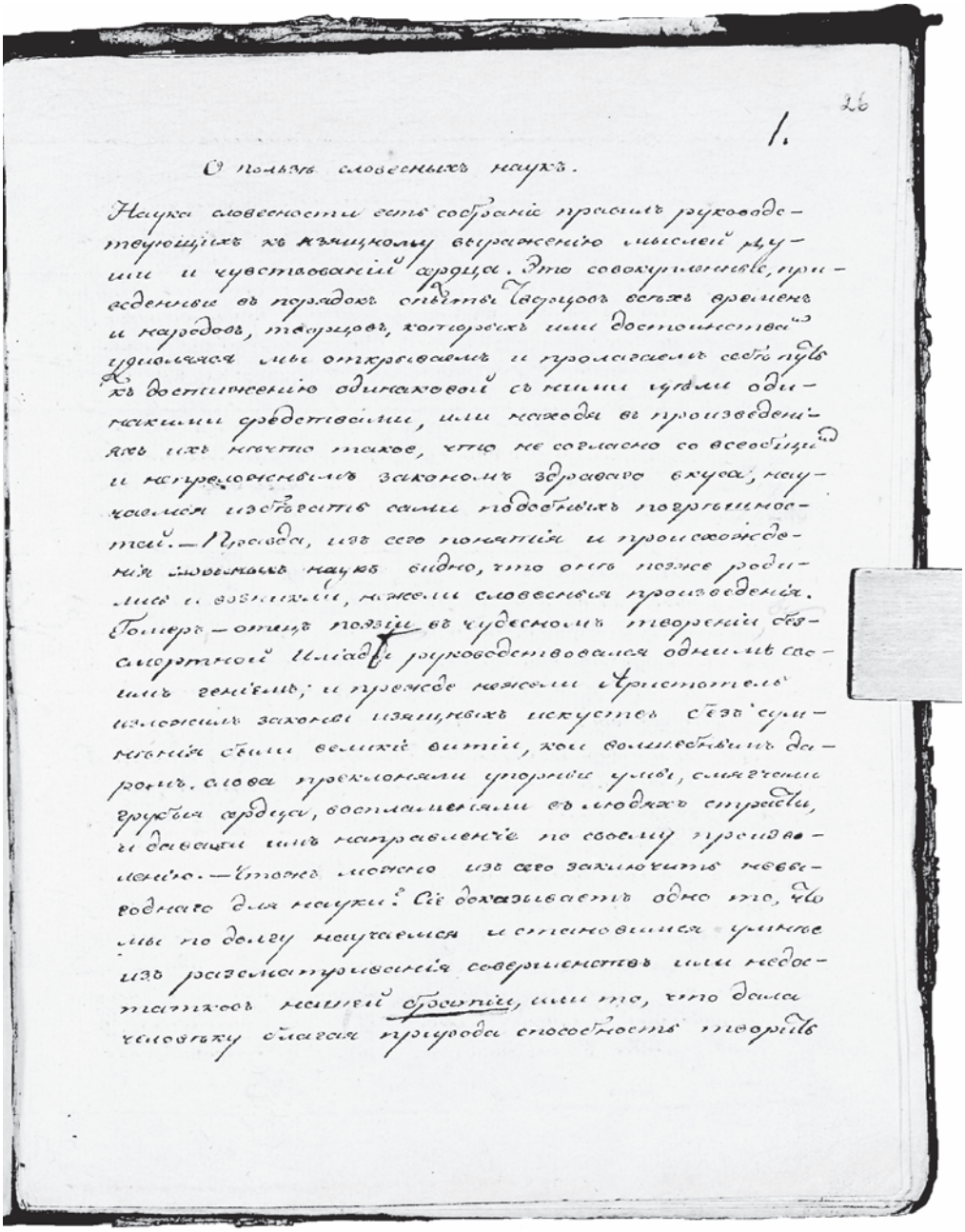
(Л. 26) Наука словесности есть собрание правил, руководствующих к изящному выражению мыслей души и чувствований сердца. Это совокупленные, приведенные в порядок опыты творцов всех времен и народов — творцов, которых или достоинствам удивляясь мы открываем и пролагаем себе путь к достижению одинаковой с ними цели одинакими средствами, или находя в произведениях их нечто такое, что не согласно со всеобщим и непреложным законом здравого вкуса, научаемся избегать сами подобных погрешностей.

Правда, из сего понятия и происхождения словесных наук видно, что они позже родились и возникли, нежели словесные произведения. Гомер — отец поэзии — в чудесном творении, в бессмертной Илиаде, руководствовался одним своим гением. И прежде, нежели Аристотель изложил законы изящных искусств, без сумнения были великие витии, кои волшебным даром слова преклоняли упорные умы, смягчали грубые сердца, воспламеняли в людях страсти и давали им направление по своему произволению.

Что же можно из сего заключить невыгодного для науки?

Сие доказывает одно то, что мы подолгу научаемся и становимся умными из рассматривания совершенств или недостатков нашей братии, или то, что дала человеку благая природа способность творить (Л. 26 об.) изящное независимо от исследований. Но когда Гомер не читал Аристотеля, то ужели писал без правил? И если сии заключались в его

[1] Приводится по рукописи: «Ученические опыты в сочинении о. Архимандрита Макария (Глухарёва)» / НИОР РГБ. Ф. 173.2. Московская Духовная Академия. № 17. 131 л. Автограф.



26

1.

О пользѣ словесныхъ наукъ.

Науки словесности есть собраніе правилъ руководствующихъ къ изящному выраженію мыслей души и чувствованій сердца. Это совокупленіе, приведенное въ порядокъ опытъ творцовъ всѣхъ временъ и народовъ, творцовъ, которыхъ они достоинствами удивляясь мы открываемъ и проходимъ тотъ путь къ достиженію одинаковой съ ними цѣли одинакими средствами, или находя въ произведеніяхъ ихъ нечто такое, что не согласно со всеобщимъ и непремѣннымъ закономъ здраваго вкуса, научаемся избѣгать самыхъ подобныхъ погрѣшностей. — Правда, изъ сего понятія и происхожденія изящныхъ наукъ видно, что онѣ позже родились и возникли, нежели словесныя произведенія. Гомеръ — отецъ поэзіи въ чудесномъ твореніи безсмертной Иліады руководствовался однимъ сильнымъ геніемъ; и прежде нежели Аристотель положилъ законы изящныхъ искусствъ сей сумѣвшій сими великіе витіи, кои волшебнымъ даромъ слова прекловлями упоряли умы, смягчали грубыя сердца, воспламеняли въ людяхъ страсти, и давали имъ направленіе по своему произволенію. — Чтожъ можно изъ сего заключить невѣднаго для науки? Сіе доказываетъ одно то, что мы по долгу научаемся и становимся умнѣе изъ разсмотрѣнія совершенствъ или недостатковъ нашей грубости, или то, что дана человѣку благая природа способность творить

Первая страница сочинения Михаила Глухарёва «О пользе словесных наук»
(«Ученические опыты в сочинении о. Архимандрита Макария (Глухарёва)».
Рукопись. Автограф. Л. 26)

уме, то не все ли равно, как если бы они лежали написанные пред глазами его?

Подобным образом и все, чем стараются очернить имя словесных наук в круге искусств изящных, по зрелом исследовании разума, является неосновательным, бессильным ухищрением остроумия, желающего блеснуть новостию. Напротив, кто исследует истину беспристрастно, без всяких видов личности, тот на вопрос — природа или наука более участвует в произведении и образовании великих творцов? — без сомнения не дает с Горацием первой никакого преимущества пред последней, ибо хотя искусство не может заменить недостатков природы, но и природа требует помощи от искусства, дабы придти в надлежащую степень зрелости и совершенства. В царстве изящных наук владыка самовластный, все устрояющий, все объемлющий, все покоряющий суду своему, — есть вкус.

Без сомнения, рука одной природы влагает в наши сердца сию способность чувствовать впечатления, производимые изящным. Но сколь малоценна сия способность в человеке, лишенном света наук! Он поражается одною блестящею наружностию, не чувствуя красот внутренних; нужны предметы колоссальные, увеличенные, дабы возбудить от дремания его (Л. 27) душу. Но чем ограниченнее и теснее круг действования вкуса в человеке, руководимом одною природою, тем обширнее он в том, кто посредством науки улучшил его удобоприемлемость и тонкость.

Искусством вооруженный взор естествоиспытателя видит чудеса природы там, где простое око находит одно обыкновенное, — душу его исполняют восторгом явления, при виде коих другой остается равнодушным. Цветок, попираемый нашими ногами, оставляет сладкую пищу для его духа. Такое же влияние имеют и словесные науки на вкус. Образованный и усовершенствованный ими он видит в произведении красоты сокровеннейшие и недостатки, ускользающие от взора непросвещенной толпы; не только занимается прелестями облачения истин, но рассматривает их со стороны справедливости, со стороны порядка, по которому они одна за другою следуют, со стороны отношения их к единому общему концу произведения. И чем далее простирается в таковом исследовании, тем многообразнейшие и поразительнейшие встречает изящества.

Человек по ограниченности природы своей, избежав одной крайности, всегда подвержен опасности впасть в другую, противоположную первой. Самый усовершенствованный вкус может повредиться и превратиться (Л. 27 об.) в ложный, если не воспользуется пособиями науки, показующей ему истинный путь, которого единого надлежит ему держаться, дабы не совратиться в распутье.

Таким образом, правила предотвращают вкус от принужденности, которая, как тлетворный ветр, иссушает цветы, повреждает все красоты творения и которая всегда была пагубною причиною упадка словесности. Таким образом, правила предостерегают вкус от утонченности, которою зараженный, подобно как впадшего в расслабление беспокоит малейшее движение потерявшего равновесие воздуха, в излишнюю приходит раздражительность от малейших погрешностей в словесном произведении и ничтожные недостатки почитает непростительными пороками. Таким образом, правила предохраняют вкус от излишней удобоприемлемости, которая мнит видеть и чувствовать изящное там, где нет его; научают отличать истинную красоту от ложной, существенную от поддельной, не судить о предметах по народному мнению, но по их внутреннему свойству.

Если наука оказывает столь великие заслуги вкусу, как чистой способности чувствовать изящное, то не меньшую приносит она ему пользу, когда прилагаемый (Л. 28) к словесным произведениям получает он название критики. Суждения, не управляемые законами здравого ума, обесславили почтенное имя критики. Одни, показывая, что судят о сочинении, в самом деле желали осудить только сочинителя; другие, непричастные впрочем духа пристрастия, но не имея довольных способностей и сведений, дабы соответствовать в полной мере долгу критиков, или были слишком поспешны и рассматривали одну поверхность сочинения, не заботясь проницать в его внутренность, заключали по одним недостаткам мелочным, или судили о истинах, не приемля в рассуждение взаимной их между собой связи и отношения, или смотрели на предметы не из одной с сочинителем точки зрения. И оттого произошло толикое множество критик ложных, суждений, которые в свою чреду сами были осуждаемы.

Наука врачует зло сие, постановляя законы, сообразно с коими надлежит рассматривать творения, и указуя признаки, по которым отмечается критика справедливая и споспешествующая усовершению словесности от критики незаконной, ускоряющей единственно ее повреждение.

Сего не довольно. Самый гений — сия творческая способность, возносящая человека превыше человечества, самый гений, хотя не всегда, однако же нередко покоряет себя в послушание (Л. 28 об.) науки. Неподражаемый в своих достоинствах, подвержен он и заблуждениям необычайным. Превыспреннее парение его влечет иногда за собою тем более жалкое падение. И в сем-то падении наука подает ему руку помощи. Не смея остановить его в исполинском шествии, не дерзая прорекать ему в жару восторга, она пользуется минутами покоя и хладнокровия, дабы обратить его внимание на собственные погрешности и подать наставления к их исправлению.

Но гений не только получает от искусства законное направление, он ему обязан некоторым образом самим бытием своим. Если существует гений в человеке необразованном, то не иначе как зачаток многоплодного древа в малом семени. Потребна рука вертоградаря, который бы, соединив с силами природы искусство, привел оное семя в состояние развития. Нет науки, которая бы могла сделать витию или стихотворцем того, кому природа не излила щедрых даров своих, равно как нет искусства составлять золото из частиц, чуждых оному. Но достоинство и польза истинной, основанной на разуме науки, — несомненна, ибо она очищает, образует, усовершает то, что заготовлено природою в уме и сердце человеческом.

Оценка: Превосходно!

Чем отличается поэзия от красноречия?

(Л. 34) Слово, дар небесный, которым человек видимо превосходит животных, имеет два начала или два источника по числу двух способностей души мыслящей и чувствующей. И вот — происхождение двух видоизменений слова: поэзии и красноречия, языка чувствований и страстей и языка мыслей.

В юные дни мира и человечества, когда природа являлась не иначе как в ризе брачной и когда человек, взирая на прекрасное зрелище, еще не соделавшееся для него обыкновенным, но на каждом шагу представлявшее взорам его красоты новые, неожиданные в непостижимой таинственности, но тем более очаровательные, умел только изумляться, восхищаться, истаевать в сладких чувствованиях восторга, язык его был язык страстей и чувствований, язык поэзии. Но любопытному уму не навсегда надлежало остаться в бездействии, блестящая поверхность вещей не навсегда могла удержать его внимание. Человек восхотел видеть в вещах их внутреннее, восхотел постигнуть законы, по которым совершается всеобщее в мире движение, восхотел проникнуть в закрытую мраком работную храмину природы — увидел, постигнул и проник. Круг сведений распространился, от сведений произошла, без сомнения, обильнейшая польза. Но в то же время, когда столь много приобрел разум, столь же много утратило сердце; с умножением познаний обессилело чувство, и язык страстей (Л. 34 об.) изменился в язык мыслей. Таково, по-видимому, происхождение красноречия и таково существенное его различие с поэзией. Основательный просвещенный разум — оратор; воспаленное растроганное сердце — пиит. Сими главными чертами определяется и все прочее в характере того и другого.

Пиит, дышащий одною страстию, ищет для нее вокруг себя пищи. Всеобъемлющим взором пробегает он многообразное зрелище мира и, оставляя без внимания предметы обыкновенные, останавливается на чрезвычайных. Тогда, если природа столько обильна в своих красотах, что страсть находит в ней все для своего насыщения, пиит довольствуется славою подражать ей и с нею сравниться. Но если существенность бедна наполнить его сердце, если на многоводной реке, в чистых струях своих изображающей светлый лик солнца, не видно еще ладей, несущих обилие градам и селам, не слышно веселого клика гребцов, рассекающих веслами влагу, если среди бурного моря, к облакам воздымающего яркие волны и потом раздробляющего их об угрюмые скалы, нет еще утлого древа, носимого ветрами, не слышно плачевного вопля пловцов, потерявших всю надежду избежать гибели, тогда пиит переходит в необозримую область возможного, дополняет недостатки в природе избытком своих вымыслов, умножает ее красоты новыми красотами, ее украсы новыми украсами — одним словом, творит. И не только движимый страстью сильною, не только тогда, как в жару исступления видит, так сказать, и землю новую, и небо новое, но и в излиянии ощущений, кротких и мирных, пиит не менее (Л. 35) пользуется беспрекословным правом своим — преобразить природу и представлять вещи не такими, каковы они суть, но такими, каковы должны быть, чтоб могли питать страсть его.

Всё получает иной вид под рукой поэзии. К чему ни прикоснется сия волшебница чудотворным жезлом своим, всё получает жизнь. С нею и горы рыдают и понт стонет в брегах своих о Великом Петре, в веселии ее скачет земля, и холмы препоясываются радостью. Эхо — не пустой отголосок для ее слуха, и нарцисс — не простой цветок в ее глазах. В угодность ее воле зимний мороз представляет себя седовласым стариком, сыплет пушистые инеи и сжимает облака своею рукою. Весенний воздух наполняется толпами игривых зефиров. В реках плавают нереиды, в лесах и рощах резвятся нимфы.

Приличен ли такой язык всегда постоянному, основательному, покорному вещаниям одного разума красноречию? Поэзия — веселая, младая и прекрасная дщерь воображения. Мы любим прощать ей все ее резвости, но красноречие утратило бы в наших глазах все свое достоинство, если бы позволило себе вольность поэзии. Приятно видеть дитя, заботливо гоняющееся за бабочкой, перелетающей с цветка на цветок, но то же действие представилось бы нам смешным до отвращения в человеке, достигшем лет возмужалости. Как сей последний совсем другими глазами смотрит на мир, нежели какими (Л. 35 об.) взирает на него юноша, так и красноречию надлежит судить о вещах не с одной с поэзией точки зрения. Пусть она исчерпает все сокровищницы природы, ей толь-

ко не позволяется что-либо в них переменять и тем менее что-либо прибавлять к богатству природы из сокровищницы воображения. Пусть оратор изобразит мир во всех его отношениях таким, каков он есть на самом деле. Если картины его ниже своего образца, он — худой оратор, но если список его превосходит самый подлинник, он — более не оратор. И посему-то не всё, чем не может заниматься поэзия, не может быть предметом красноречия. Между тем как первая избирает для себя только одно изящное, последнее может заниматься всем, даже обыкновенным. И когда та старается возвысить самое обыкновенное, сия достигает своей цели, представляя вещи в настоящем собственном их виде.

Из сего само собою видно различие между поэзией и красноречием со стороны предполагаемой тою и другим цели.

Поэзия действует на воображение, красноречие — на разум. Первая, научая, желает нам нравиться, последнее хочет нас убедить и наставить. Пиит приятным начертанием сельской жизни заставляет царя, окруженного славой, коего желания предупреждает исполнение, позавидовать доле веселого пастуха веселых стад, умеренного в своих желаниях, (Л. 36) против врагов овец своих имеющего союзника в верном своем псе, невинных льстецов своих в беспритворном псе и кротких овцах. Но впечатления такого рода хотя могут быть сильны, не могут однако же быть продолжительны: скоро существенность изглаждает их в нашем сердце, и мечты воображения исчезают подобно призракам сна в час пробуждения. Проходит подобно сну и возраст призраков, возраст пылкой юности, любящей себя обманывать. Тогда человек прощается с прельщениями фантазии, которая и сама взаимно оставляет его, предоставляя рассудку руководить разумное существо на поприще жизни. И здесь-то красноречие подает ему руку и усыпает пред ним цветами многотрудный и часто печальный путь истины — усыпает, но не совсем его скрывает. Какие бы красноречие ни позволяло себе украшения, существенной его целью остается наша польза — просвещение нашего разума, направление склонностей нашего сердца к единому добру. Оно не хочет обольщать нас, не хочет дела своего относить на суд воображения, соделавшегося для нас слишком подозрительным. Истинный оратор говорит так, что, забывая его лицо, слушатели мнят слышать только внутренний глас своей совести и разума. И вот право, по которому Демосфен — сладость (Л. 36 об.) высшим пред отцем римского красноречия местом в храме здравого вкуса. Цицерон в своих речах слишком много любил обращать на свое искусство внимание народа, слишком приметно, что он желал громких рукоплесканий, желал, чтобы восклицала вся площадь: это прекрасно! Превосходно! Напротив, Демосфен, совсем забывая приятную для самолюбия нужду нравиться, желал только

обратить взоры афинян на истинное положение дел Республики, желал, чтобы они сказали: пойдем, накажем Филиппа, коварного врага нашего Отечества.

Правда, красноречие часто имеет дело с человеческим сердцем, а поэзия часто предлагает уроки мудрости, но, несмотря на это, и первое и последняя остаются тем, что они суть. Красноречие никогда не возбуждает страстей, не убедивши прежде рассудка, а поэзия если поучает, то поучает приятно, и если говорит разуму, то всегда языком страстей и воображения.

Поэзия еще во дни своего младенчества имела спутницей своей музыку. При жертвоприношениях, пиршествах и праздниках издревле воспеваемы были стихотворные песни, сопровождаемые звуком лиры или свирели. Для лучшего согласия с сими звуками самые песни должно было подчинить известным законам размера. Отсюда (Л. 37) произошел внешний поэзии вид, по которому она отличается от красноречия — речи, текущей свободно, подобно реке, обильной водами. Впрочем, сия наружность может легко обмануть, если в различении поэзии от красноречия не руководствоваться внутренним того и другой духом. Метр еврейской поэзии потерян, но дух пиитический сохранился в священных песнях Моисея и Давида; некоторые места в надгробных словах суть превосходнейшие и возвышеннейшие оды, между тем как чьи-нибудь стихи хуже худой прозы.

Оценка: Legi, emendani, probaui
(Правильно, доказательно, безукоризненно).

Высокое в сочинении разнится ли от изящного, и если нравится, то как определить сию разность?

(Л. 118) Совершенство искусства состоит в совершенном подражании природе. Природа есть образец. Искусство достигает своего назначения, когда представляет верный с него список. Тогда, как в чистом зерцале, исто отражаются в нем образы предметов существующих или могущих существовать в области природы, воображения, ума человеческого. Посему природа не может производить в нас чувствований, противоположных ощущениям, которых бывает причиною искусство. Посему как различные предметы в природе делают в нашей душе столь же различные впечатления, так и искусство, изображая неодинакие [т.е. неодинаковые] предметы, необходимо должно действовать на ощутительную нашу способность неодинаковым образом. Посему как природа, так и искусство доставляют вкусу удовольствие. Но удовольствия всегда от многообраз-

ных предметов многообразны. В истине сего могут уверить всякого собственные чувства сильнее всех умствований.

Весною, когда благодетельное солнце оживит и воскресит теплотворными лучами природу, идите смотреть на испещренный цветами луг, слушать (Л. 118 об.) пение веселых птиц — смотрите, чтоб смотреть, слушайте, чтобы слушать, смотрите и слушайте, чтобы чувствовать, — и душа ваша исполнится живейшим удовольствием.

Но совсем иные чувства будут волновать ваше сердце, когда воззрите на волнующееся море, на вздымающиеся к небесам волны. Одно ли и то чувствуем, когда склоняем слух наш к журчанию кроткого источника и когда слышим шум, производимый водопадом? Одно ли и то чувствуем, когда смотрим на текущую мирно среди брегов своих реку и когда, вышедши из пределов, положенных ей природою, наводняет она лежащие вокруг луга и пажити?

Таковы же действия искусства. И различие в оном изящного от высокого основывается на различии того и другого в природе. Какое чувство внушает царь-песнопевец, когда изображает Бога — крепость свою, пришедшего к нему на помощь против врагов его? Он видит подвигшуюся и вострепетавшую землю — основания гор мятутся, дым и огнь предвозвещают хваление Господа. Наконец Всевышний преклоняет небеса, и нисходит мрак под ногами Его. Закров Его — тма, шествие Его — на херувимех и летение Его — на крилах ветреных. Не то чувствуем (Л. 119), когда описывает Давид блаженство мужа, не идущего на совет нечестивых, или благословляет Господа, Которого судьбы призвали его от пастушеского жезла к скипетру, или приносит Ему с сокрушенным сердцем покаяние о грехах своих.

Черты, отличающие в произведениях ума и воображения человеческого высокое и изящное, нередко между собою смешиваются, и часто сии две необходимые принадлежности творений, достойных гения, не получают надлежащей определенности. Впрочем, особенное свойство и того и другого видно в самих чувствованиях, производимых ими в нашей душе: чувство изящного спокойно и мирно, чувство высокого быстро и стремительно; чувство изящного может поддерживаться чрез долгое время, чувство высокого всегда бывает непродолжительно. Первое услаждает наш дух, последнее изумляет его. Предметом первого могут быть вещи обыкновенные, предметом последнего — чрезвычайные, возбуждающие в нас понятие о бесконечности.

Оценка: Хорошо все, а особенно последние строки.

По обыкновению ли только новейших времен или по особливой нужде преподается учение деятельной Богословии в образе и по правилам науки?

(Л. 11) Если бы кто пожелал следовать в сем только обычаю новейших времен, то мог бы, с намерением или без намерения, низводя деятельное Богословие с высоты небесного его достоинства в круг обыкновенных изобретений человеческих, лишиться сам и лишить других его существенной пользы. Тогда самое богатое приобретение рассудка не заменило бы бесценной потери сердца, ибо нравственное Богословие столь же бы слабо влекло оное горе, как и нравственная даже самая посредственная философия.

Итак, не для одного однообразия с естественными науками и искусствами деятельно-христианское учение может принять вид искусственной правильности, но для цели, которая бы приближалась к намерению, с которым Бог даровал нам в письмени слово Свое.

Во-первых, такая строгая правильность имеет ту пользу, что обязанный право править слово Божией истины может обратить ее в средство счастливо владеть духовным мечом против тех врагов духа, которых буква приводит к превратным (Л. 11 об.) толкам и которые или порождают или питают несогласие между верующими. Апостол Павел часто и сильно заповедует Тимофею и Титу воинствовать против заблуждений с кротостию и с тем всегда намерением, чтобы привести заблуждающих в разум истины.

Но когда пристрастные к мнениям ученые люди, по законам своим, позволяют убедить себя не иначе, как если победят их тем же оружием, какое они употребляют для своего защищения, то любовь, которую мы должны иметь к ним, повелевает нам пощадить их столь немощную совесть. А когда мы помыслим, что в таких случаях идет дело о славе Божией и истине Священного Писания, то все затруднения, подлинные или от нашего нерадения и изнеженного вкуса происходящие, должны исчезнуть при оной мысли.

Притом служитель слова всегда обязан быть готовым отвечать поучающимся у него на вопрос о словеси упования. Для таких случаев всего нужнее ему приготовить себя правильным, точным, более объемлющим целое, нежели теряющимся в частях обозрением истин деятельной Христовой науки, привести их к единой вседвижущей точке и, содержа в мыслях правильную их связь, подражать таким образом домовитому мужу (Л. 12), который тем легче находит всякую вещь в доме, чем более привык держать все в своем месте. Для поучающегося сына Церкви нет необходимости в строгостях науки, если он оживотворил

истину в сердце своем. Но служитель Церкви должен помнить, что он поставлен на свещнике и что его назначение есть — гореть и светить.

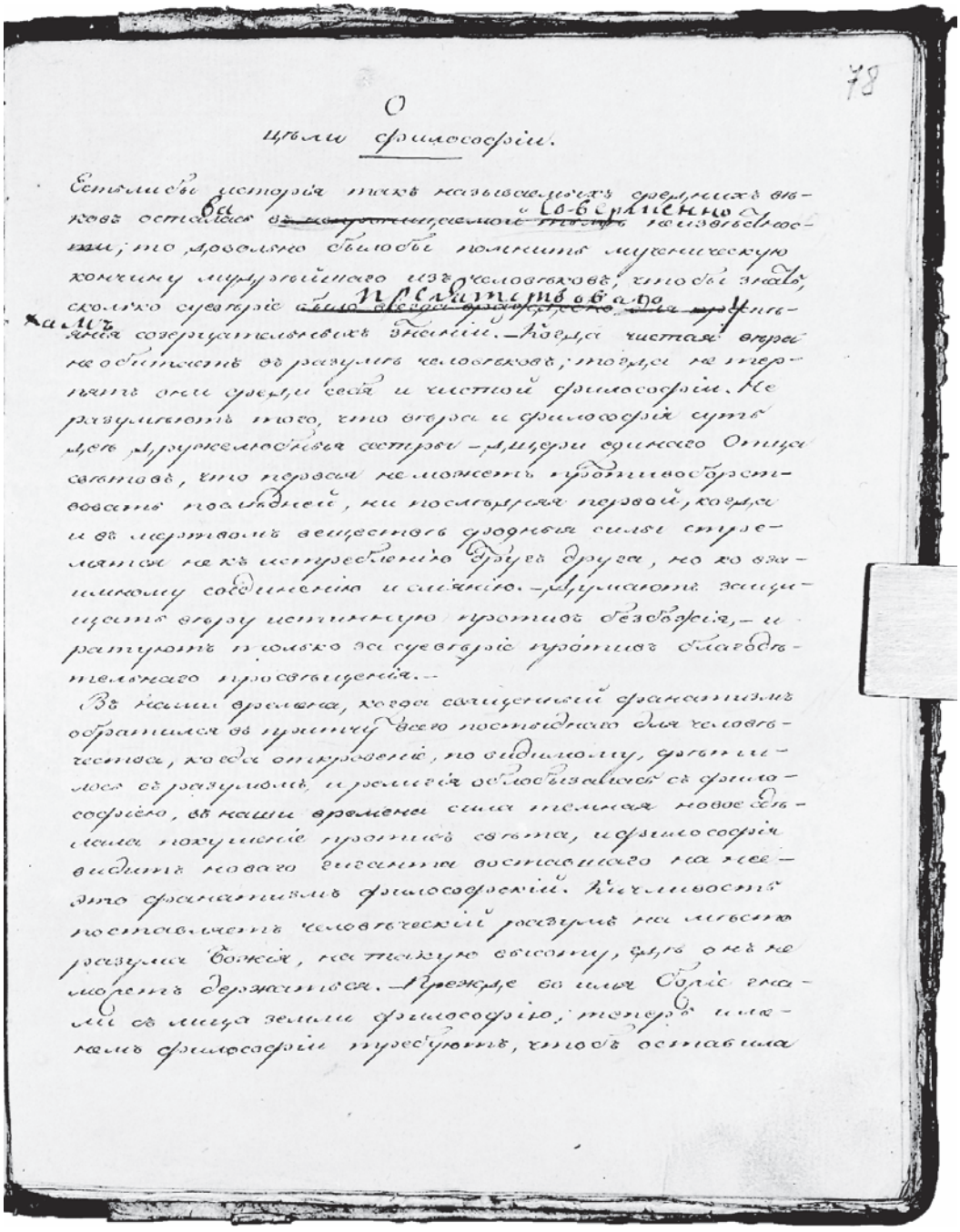
Наконец, множество противоречащих мнений, утонченность заблуждений и многообразные виды, в которых они представляются, слабость в каждом умственных сил и паче всего недостаток внутреннего свидетельства или духовного чувства, долгим деятельным обучением приобретаемого, — все сие невольно заставляет каждого попещись о себе прежде, нежели будет должно пещись о других.

Оценка: Немного, но и довольственно размышлением.
Сент. 26. 1816

О цели философии

(Л. 78) Если бы история так называемых средних веков оставалась совершенно неизвестною, то довольно было бы помнить мученическую кончину мудрейшего из человеков, чтобы знать, сколько суеверие препятствовало успехам созерцательных знаний.

Когда чистая вера не обитает в разуме человеков, тогда не терпят они среди себя и чистой философии. Не разумеют того, что вера и философия суть две дружелюбные сестры — дщери единого Отца светов, что первая не может противоборствовать последней, ни последняя первой, когда и в мёртвом веществе сродные силы стремятся не к истреблению друг друга, но к взаимному соединению и слиянию. Думают защищать веру истинную против безбожия — и ратуют только за суеверие против благодетельного просвещения. В наши времена, когда священный фанатизм обратился в притчу всего постыдного для человечества, когда откровение, по-видимому, сретилось с разумом и религия облобызалась с философией, в наши времена сила темная новое сделала покушение против света, и философия видит нового гиганта, вставшего на нее, — это фанатизм философский. Кичливость поставляет человеческий разум на место разума Божия — на такую высоту, где он не может держаться. Прежде во имя Божие гнали с лица земли философию. Теперь именем философии требуют, чтобы оставила (Л. 78 об.) мир небесная вера — единственное утешение страждущих человеков. Прежде говорили: для чего философия, когда есть религия? Теперь вопиют: для чего религия, когда есть философия? Светильник естественного разума довлеет к тому, чтобы возвести человека к началу, от которого он происходит: поклоняться сказаниям, превышающим всякое разумение, пускаться в область теней и мрака, где ум самый зоркий столь же мало видит, как и самый тупой, — лишнее дело!



78

О

цѣли философіи.

Естественно исторія такъ называемыхъ среднихъ вѣковъ осталась ~~не изслѣдованною~~ совершенно неизвѣстною; то, довольно было бы помнить мученическую кончину мудрѣйшаго изъ человѣковъ, чтобы знать, сколько суевѣріе ~~было всегда враждебно истинѣ~~ истинствовало на [illegible] [illegible]ялъ созерцателевъ знаній. — Когда чистая вѣра необратилась въ разумъ человѣковъ; тогда не терпѣлъ онъ среди себя и чистой философіи. Не разумѣютъ того, что вѣра и философія суть двѣ дружелюбныя сестры — дщери единаго Отца свѣтовъ, что первая не можетъ противостоять второй, ни послѣдняя первой, когда и въ мертвомъ веществѣ двѣ силы стремятся не къ истребленію другъ друга, но къ взаимному соединенію и сліянію. — Дружатъ защищаетъ вѣру истинную противъ безбожія, — и ратуютъ только за суевѣріе противъ благодѣтельнаго просвѣщенія. —

Въ наши времена, когда сочиненіемъ фанатизмъ обратился въ причину всего постыднаго для человѣчества, когда открывается, по видимому, согласіе съ разумомъ, и прежняя обособливается съ философіею, въ наши времена сила темная новое дѣлаетъ похищеніе противъ свѣта, и философіи видитъ новаго гигантъ восстающаго на нее — это фанатизмъ философскій. Кичливость постановляетъ человѣческій разумъ на мѣсто разума Божія, настоящую высоту, гдѣ онъ не можетъ держаться. — Прежде во имя Божіе гнали съ лица земли философію; теперь имя самой философіи требуютъ, чтобъ оставила

Первая страница сочинения Михаила Глухарёва «О цели философии»
(«Ученические опыты в сочинении о. Архимандрита Макария (Глухарёва)».
Рукопись. Автограф. Л. 78)

Роковое мнение — если не для религии, которой основной камень столь тверд, что и врата адовы не одолеют ее, то для самой философии оно унижает философию в намерении слишком возвысить ее; подвергает ее опасности презрения и ненависти человеков, для которых, если только возможно, лучше бы было остаться без ума, нежели без веры; наконец оно представляет философию вещью без всякой цели, приписывая ей цель, которой она безсильна достигнуть и которая посему не есть ее собственная.

Говорят, что нет столь чистой лжи, в которой не было бы чего-либо истинного. В самом деле, большая часть заблуждений произошла от легкомысленной опрометчивости или слепотствующей самонадеятельности, которая смело утверждает о цельном то, что с справедливостию можно сказать об одной части. В таковых односторонних суждениях всегда царствует неустроенная смесь умообразного с (Л. 79) вещественным, существенного со случайным, прошедшего с настоящим и настоящего с будущим. Но смесь сия такова, что часто драгоценный камень правды скрывается в сем недостойном его месте. Это лабиринт, в котором многие блуждают и гибнут. Но кто идет с златою в руке нитью истины, тот безбедственно проходит сии обманывающие излучины и напоследок поражает во главу скрывающийся в них чудовищный предрассудок.

Неправое мнение о назначении философии составилось из правого умоначертания мудрости совершенной в человеке совершенном, смешанной с наукой умствующего рассудка в человеке посредственном и слабом. Разуму надобно отдать всю справедливость. Когда Присносущий устроял на земле нравственное Царствие Свое и Триединичный Совет венчал человека славою и честию быть гражданином сего блаженного Царствия, тогда восприял начало свое разум — священная черта образа Божия в существе перстном, великая печать союза твари с Создателем.

Един Господь, и доколе человек был един дух с Господом, дотоле соединял его с Ним один разум; доколе человек являл себя пред Богом покорным сыном, дотоле разум являл ему в Боге Отца благотворного; доколе жил он в Боге и Бог в нем, дотоле его философия была религией и религия философией.

(Л. 79 об.) Но как вместе со грехом расторжено сие вожделенное единство? Пал любимец Неба — и падение сие удалило его от Бесконечного на бесконечное расстояние. Возмутившись против Создателя, с ужасом зрит человек, что возмутилось против него не только все внешнее естество, но и собственное сердце его. Разум сохраняет еще память первобытного величия своего, но память сия только бы увеличивала бедственное состояние человечества. Блюдется еще во глубине души чело-

веческой ведение Бога, от Которого она произошла и в Котором едином ее спокойствие и блаженство.

Но мысль о Всесвятом и Правосудном умножала бы только отчаяние твари толико слабой и толико виновной, если бы воплощенная Божия любы не благоволила разрушить то крепчайшее всяких сил средостение, которое, казалось, навсегда отлучило сотворенное и преступное существо от вечного и оскорбленного Создателя. Великое сие человека с Богом в Боге-человеке воссоединение есть истинная и слову соответствующая делом религия. Она для человека соделалась тем, что был для него некогда разум. И поелику весь человек уже не то, что был в начале, то и разум не может более для растления быть тем, что был для святой чистоты и невинности. Он теперь показывает нам только ту высоту, с которой мы пали, освещает (Л. 80) ту бездну, в которую низверглись, обличает нашу немощь прейти сию необозримую пропасть, утвердившуюся между нами и небом, дает нам чувствовать необходимость силы высшей, которая бы расторгла узы чувственности, стеснившей и поработившей наш дух, — необходимость бесконечной цены умилостивления пред раздраженным судилищем бесконечного правосудия.

Словом, долг разума в настоящем естественном его состоянии есть познавать необходимость посредника между человеком и Богом. И философия имеет единую цель, которая есть ее существенная, — руководить человека к религии, которая есть одна истинная.

Долг славный и цель великая! Представим себе бедного путника — слепца, которому в стране неизвестной и чудной нет иного вождя, кроме страннического посоха. Застиженный в непроходимой дебри мрачной и бурной ночью, потерял он стезю свою и не знает, куда направить стопы. Между тем в ужасном треске громов кажется ему, что небо ежеминутно готово обрушиться на главу его, между тем рыщущие вокруг хищные звери страшным рыканием угрожают принести его в жертву своей алчности. Изнемогший в бедственном блуждении, трепещущий подобно древесному листу и порываемому вихрем, хочет несчастный слепец подкрепить отдохновением остаток сил и падает в гнездилище змий, которые (Л. 80 об.), нечаянно возбудившись, в яростном шипении ищут смертоносным жалом своим наказать возмутившего покой их.

Не жалкое ли состояние сего путника? Но если бы среди мрака и всех ужасов, его окружающих, нашелся, кто бы мог найти его в глубине лесов заблудшего, ободрил бы устрашенного, оживил бы надеждою отчаянного и, отъявши как некую кору слепоту от очей его, наконец извел бы на стезю, ведущую в место его рождения. Не почтил ли бы его прозревший слепец в восторге души своей именем благотворного друга человеков — Ангела-утешителя, посланного к нему от милосердого неба?

Подобный слепец есть всякий человек. Дебрь, в которой мы блуждаем, есть дебрь мрачных предрассудков, мучительных недоумений и жалкого самоневедения.

Истинная философия изводит нас из сей несчастной дебри и управляет наши стопы на путь веры, на вожделенный путь в отечество наше. Она врачует и слепоту наших умных очей и таким образом предуготовляет нас к принятию блистательного света небесной религии. Достоинство религии не уменьшает цены философии, ибо менее ли от того благотворят нам врачи, что, возвращая способность зреть всё в свете солнечном, не могут заменить ничем сего самого света, не могут нашего взора превратить в солнце? И если безрассудно требовать от них столь многого, то не столь же безрассудно требовать подобного и от философов? Но сами философы не сугубо ли безрассудны (Л. 81), что, не довольствуясь высокой славой руководствовать нас к свету горней истины, присвояют себе возможность соделать дух наш источником сего света, так что после можно бы было и не нуждаться в божественном солнце религии, освещающем и оживляющем всяческая в духовном мире?

Если всяк человек ложь, то потому, что всяк человек гордость. От гордости, от единой гордости происходят заблуждения наши, а заблуждения делают нас несчастными. Если бы гордость не ослепляла сих умов, именуемых твердыми, они узрели бы, сколь слабо великолепное здание воздвигаемой ими естественной религии и сколь ненадежно ее основание — разум, столь немощный против насилия страстей и предубеждений; разум, столь часто сговаривающийся с неразумным сердцем и вместе с ним влекущий человека в рабство постыднейших пороков; разум — сия слабая трость, ветром колеблемая, — которого долговременные изыскания часто разрушает и уничтожает одно малейшее сумнение; разум, по различию образования всегда различный, в различных неделимых самого себя не понимающий и даже самому себе противоречащий.

Так! Когда философы не обращают храмины естественной мудрости в притвор храма премудрости Божией, философия представляет Вавилонский столп, который никогда не будет кончен. Всевышний приникает на кичливых строителей и, видя, что они хотят только (Л. 81 об.) сотворить себе имя, смешивает помышления их так, что они, не разумея друг друга, расходятся в различные стороны противоположных мнений. Но если бы возвысить человеческий разум до последней точки своего совершенства, если бы прекратить сии шумные прения более за слова, нежели за вещи, если бы философы, каждый своим путем ищущий истины, чтобы найти одну личную славу, избрали единую прямую стезю беспристрастия, то стезя сия, без сумнения, привела бы их к области веры.

Сия очищенная от всякого пустословия философия тем более явила бы людям необходимость религии, и сей высокий ум в том полагал бы истинную славу свою, чтобы повергать ее в смирении к подножию креста. Истина сия оправдана, к безответному стыду христианских времен, веками языческого мрака, в котором, как в тьме ночной, являлись по временам светила великие. Учение Платона, без сумнения, для большей части его современников было соблазном и безумием. Зато оно должно научать нас познавать истину религии, нами исповедуемой, и указывать цель, к которой наш разум должен устремлять шествие в своих созерцаниях.

Первый наш взор, кажется, должен бы падать на самих нас. Величайшая наука для человека есть человек. Все познания его суетны, если не познал он себя самого. Но познать себя самого без ужаса не можно. Не можно без ужаса видеть сию вечную борьбу духа с чувственностью, оканчивающуюся низложением первого, торжеством последней и гибелью человека. Не можно без ужаса видеть, какой восхитительный порядок царствует в при(Л. 82)роде, и неразумной и мертвой, и какой хаос владычествует в природе человеческой, превознесенной и препрославленной.

Человек знает, что, не следуя закону своего разума, всуе носит он имя человека — высокое достоинство владыки вселенной. Человек знает, что от соблюдения сего закона зависит всё совершенство его естества, что с нарушением его необходимо сопряжено зло пагубнейшее и единое, какого должно ему страшиться. Он знает, что закон сей, написанный в его сердце, есть глас вещающего в нем Разума Высочайшего, священный закон или Отца Всеблагого, или правосудного Бога разумной твари; он знает...[1], но довольно ли того, что он знает? Не лучше ли было бы не знать сего закона, нежели знать и никогда не исполнять его? Не лучше ли было бы для него совсем не быть человеком, когда не может он не унизиться до степени несмысленных животных?

Во зле лежит мир нравственный, но откуда оно в нем? Можно ли без богохульства помыслить, чтоб святость Божия произвела грех и беззаконие, чтоб от света чистейшего получила начало свое тьма. Когда Бог есть всеблагость и любы, то мог ли Он сотворить человека для жизни несчастной? И когда всемогущество Его не знает никаких пределов, то ужели не мог Он исполнить советов святости Своей и любви? — Конечно, сам человек виною своей бедности; конечно, вместе с бытием получил он от Десницы Творческой исполнение всех совершенств, какие могло вместить естество его; конечно, воля его была в начале столько же свята и непорочна, сколько чист и здрав был его разум; конечно, человек употребил (л. 82 об.) во зло свободу свою, которая необходима в составе его

[1] Так в рукописи. *Прим. ред.*

естества; конечно, сотворенный для единого Бога, вне Коего не мог он быть и блаженным, восхотел жить для себя и чрез то соделался несчастнейшею тварию; конечно, сии ужасные злодеяния, оскверняющие землю, и сии буйственные страсти, в неистовстве своем превращающие мир в позорище ада, суть следствия первого преступления, по тому же непреложному закону, по какому от злого корня не могут произрасти ветви, приносящие добрейший плод.

Нашедши корень нравственного зла, оставалось бы только посещи и истребить его, но безуспешные о том старания мудрецов всех времен и народов доказывают, что человек, сам соделавшись злым, не может сам себя соделать добрым. Единожды омрачившись грехом, не может более просиять святостию. Единожды отпадши от Бога, не может уже собственными силами прийти паки в блаженное с ним общение.

Если смотреть на людей со стороны естественного их состояния — какое печальное представляется зрелище! Большая часть их столько огрубели в долговременной духовной проказе, что она едва ли для них и чувствительна. Другие, почитающие себя людьми особенного рода, отличаются от первых тем, что много говорят и столь же мало делают.

Как же мы думаем: кто сии мужи, возвышающие чело свое в знамение возвышенности духа их над всем, что прельщает непросвещенную чернь? Они называют себя философами, но единый Премудрый весть, это ли любители мудрости. Жизнию своею разрушают (Л. 83) они то, что созидают своим учением. Проповедуют воздержание, учат презирать славу и честь, велят сребролюбцу перестать любить сребро бездушное. Но забывают предшествовать ученикам примером собственным. Похоть плотская, похоть очес и гордость житейская властвуют и над ними. Те из них, которые в самом деле далеко простерлись на пути истины и добродетели, сознаются от чистого сердца, что все они нечисты, что самые блистательные добродетели их отравлены ядом себялюбия, что они не в состоянии достигнуть того совершенства, которого образ начертали в своем разуме, и что философия, предписывая законы, не дает сил к их исполнению. Еще одна степень, и сии философы на праге[1] религии. Одни ли довольные силы к исполнению закона естественного нужны человеку, чтобы очистить для себя путь к Богу — и в Нем успокоиться? Положим, что он имеет сии силы и что ни на одну черту более не преступает велений живущего в душе его судии. Но и теперь, что он пред Богом, как не раб, который исполнил только долг свой? Какое право имеет он требовать даров Его благости? Он раб, и раб неключимый. Ибо чем вознаградит толикие оскорбления, соделанные им доселе Небесному Владыке?

---

[1] Т.е. на пороге. *Прим. ред.*

Удовлетворить правосудию Бога может один Бог. Но по законам того же правосудия Сам Бог не мог бы ничего сделать в пользу человека, если б не участвовал в сем удовлетворении сам человек. Итак, Бог и человек — человек и Бог — вот существо, которому предлежит великий подвиг водворить мир между небом и землею. Вот существо, которое должно соделаться для человека путем от земли к небу. Сей чрезвычайный Посредник должен воссоздать в себе человечество. В сем первом Божественном Праведнике человек должен обновиться и освятиться, так как растлился и омрачился в первом грешнике перстном. Это должен быть новый, благословенный корень человечества, от которого и ветви должны заимствовать новые, благословенные соки — новые мысли, новые желания, новые силы — для произведения благословенных плодов святой добродетели. Но не достигли ли (л. 83 об.) мы уже града Давидова? И звезда истины не привела ли нас вместе с мудрецами Востока к рождшемуся Иисусу?

Так! что учитель языков сказал о законе Моисеевом, то можно сказать о философии: цель философии быть пестуном нам во Христа. Она воспитывает наш разум, чтобы потом предать его водительству веры. Но ничто столько не противно Духу Христа и Его веры, как гордость. Гордым Бог противится, и дары веры Его изливаются только смирению, пленяющему ум в ее послушание. В сем случае Бог поступает с нами так же, как поступил древле с отцом верующих. Наш единородный и возлюбленный Исаак есть разум. Он для нас всего дороже, на него вся наша надежда. Он — наша краса и утешение. Но Бог, Который нам дал его, и может паки отъять, Бог требует от нас Исаака сего во всесожжение. И не Богу ли повинится наша душа — философия! Пестун нашего разума! Веди воздаянного тобою Исаака на высоту божественных таинств откровения и там, распростерши его на жертвеннике веры, вверху дров стихийных его знаний с неколебимою твердостию вознеси на него священный нож самоотвержения!

Но Бог не допустил Авраама заклать своего сына. Исаак остался жив, возрос и укрепился, и Бог, умножая, умножил его. От чего ж бы возмущаться и разуму нашему, когда его вяжут. Он останется навсегда тем, что есть. Его долг — уничтожаться пред верою, но вера не уничтожит его.

Если цель земного мудрования — руководствовать разум к небесной вере, то цель сей веры — возводить разум к небесной мудрости без сомнения многими степенями, от силы в силу, от истины к истине, от света к свету, когда наконец великий день явления славы сынов Божиих воссияет и прейдет. Самая вера уступит место очевидности. Тогда ты, смиренный разум, в полном величии восклонишь главу свою, чтобы зреть Бога и в Боге все, яко же есть.